https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0875-2-295-318
https://elibrary.ru/BLTTQR
УДК 82.0+81-139
Научная статья / Research Article

This is an open access article
Distributed under the Creative
Commons
Attribution-NoDerivatives 4.0
(CC BY-ND)

ОТ АНТИНОМИЙ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ К ТЕКСТУАЛЬНОЙ ИГРЕ: ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЕ ОПТИКИ В ПРОЧТЕНИИ СИМВОЛИСТСКОЙ РЕЦЕПЦИИ А.А. ПОТЕБНИ

© 2026 г. А.В. Марков

Исследование выполнено в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00248, URL: https://rscf.ru/project/24-18-00248/

Аннотация: Статья исследует рецепцию лингвистической теории А.А. Потебни русскими символистами (В. Брюсов, А. Белый, П. Флоренский) через призму постструктуралистской философии (Ж. Деррида, П. Де Ман, Ю. Кристева). Цель работы — не просто применить постструктуралистские категории к историческому материалу, но выявить в самом символизме имманентные прото-постструктуралистские интуиции и напряженности, которые становятся видимыми ретроспективно. Новизна исследования заключается в рассмотрении постструктурализма не как статичного набора идей, а в его внутренней эволюции, что позволяет провести более тонкие и динамичные параллели с развитием мысли самих символистов. Анализируется ключевая антиномия: стремление символистов к онтологизации слова, к обретению в «внутренней форме» гаранта сакрального смысла, с одной стороны, и их же практика, ведущая к деконструкции этого смысла, к обнажению материальной, игровой природы языка — с другой. Показано, что противоречивое отношение символистов к Потебне — от опоры до преодоления — является ярким свидетельством этого движения. Русский символизм рассматривается не как пассивный объект анализа, а как уникальная лаборатория, где вызревали идеи, радикализованные позднейшей философской мыслью XX в.

Ключевые слова: Потебня, символизм, постструктурализм, внутренняя форма, антиномия, деконструкция, язык, Брюсов, Белый, Флоренский

Информация об авторе: Александр Викторович Марков — доктор филологических наук, профессор, кафедра кино и современного искусства, Российский государственный гуманитарный университет, Миусская пл.,

д. 6, ГСП-3, 125993 г. Москва, Россия; ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6874-1073

E-mail: markovius@gmail.com

Для цитирования: *Марков А.В.* От антиномий внутренней формы к текстуальной игре: постструктуралистские оптики в прочтении символистской рецепции А.А. Потебни // Антиномичность поэтики русского модернизма и современная гуманитарная мысль: коллективная монография / отв. ред. и сост. С.В. Федотова. М.: ИМЛИ РАН, 2026. С. 295–318. 1 электрон. опт. диск (CD-R). Текст: электронный.

https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0875-2-295-318

FROM THE ANTINOMIES OF INNER FORM TO TEXTUAL PLAY: POST-STRUCTURALIST OPTICS IN READING THE SYMBOLIST RECEPTION OF A.A. POTEBNYA

© 2026. Alexander V. Markov

Acknowledgements: The research was carried out at the A.M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, with the support of a grant from the Russian Science Foundation (RSF, project no. 24-18-00248, Available at: https://rscf.ru/project/24-18-00248/).

Abstract: The article examines the reception of A.A. Potebnya's linguistic theory by the Russian Symbolists (V. Bryusov, A. Bely, P. Florensky) through the lens of post-structuralist philosophy (J. Derrida, P. de Man, J. Kristeva). The aim is not merely to apply post-structuralist categories to historical material, but to identify immanent proto-post-structuralist intuitions and tensions within Symbolism itself, which become visible only in retrospect. The novelty of the research lies in considering post-structuralism not as a static set of ideas, but in its internal evolution, which allows for more subtle and dynamic parallels with the development of the Symbolists' own thought. The key antinomy is analyzed: the Symbolists' striving for the ontologization of the word, for finding in the "inner form" a guarantee of sacred meaning, on the one hand, and their own practice, leading to the deconstruction of this meaning, to the exposure of the material, playful nature of language, on the other. It is shown that the Symbolists' contradictory attitude towards Potebnya — from reliance to overcoming — is vivid evidence of this movement. Russian Symbolism is considered not as a passive object of analysis, but as a unique laboratory where ideas radicalized by the later philosophical thought of the 20th century were maturing.

Keywords: Potebnya, symbolism, post-structuralism, inner form, antinomy, deconstruction, language, Bryusov, Bely, Florensky

Information about the author: Alexander V. Markov, DSc in Philology, Full Professor, Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, GSP-3, 125993 Moscow, Russia; Leading Researcher, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6874-1073

E-mail: markovius@gmail.com

For citation: Markov, A.V. "From the Antinomies of Inner Form to Textual Play: Post-Structuralist Optics in Reading the Symbolist Reception of A.A. Potebnya." *Antinomichnost' poetiki russkogo modernizma i sovremennaia gumanitarnaia mysl'* [*The Antinomic Nature of Russian Modernism Poetics and Modern Humanities Thought*], ex. ed. Svetlana V. Fedotova. Moscow, IWL RAS Publ., 2026, pp. 295–318. (In Russian) 1 Electronic Optical Disc. Text: Electronic.

https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0875-2-295-318

Введение: Проблемное поле и методология

Тема настоящего исследования находится на пересечении двух масштабных интеллектуальных традиций: философско-лингвистических исканий русского символизма, сфокусированных на наследии Александра Афанасьевича Потебни, и критического аппарата французского и англо-американского постструктурализма. Наша цель заключается не в механическом приложении готовых теоретических конструктов к историко-литературному материалу. Подобный подход был бы анахронизмом и не позволил бы увидеть специфику самого символистского проекта. Вместо этого мы ставим задачу выявить в самом сердце символизма те протопостструктуралистские интуиции и внутренние напряженности, которые становятся видимыми только ретроспективно, сквозь призму более позднего философского языка.

Фигура А.А. Потебни является ключевой для этого диалога сквозь время. Его версия гумбольдтианства, обогащенная достижениями фольклористики и ассоциативной психологии, и, в частности, концепция «внутренней формы слова» как живого, образного ядра, связывающего мысль и язык, стала для символистов не просто теорией, но полем интеллектуальной битвы. Во «внутренней форме» они увидели потенциальный ответ на свои онтологические запросы — возможность обосновать магическую, теургическую природу

слова, его непосредственную связь с сущностями мира. Однако сама теория Потебни, как будет показано, содержала в себе семена будущего конфликта: с одной стороны, она утверждала неразрывную связь между словом и смыслом, а с другой — подчеркивала историческую изменчивость и неустойчивость этой связи. Такая внутренняя противоречивость потебнианского наследия сделала его идеальным катализатором для символистов, в творчестве которых онтологизация слова постоянно оборачивалась его деконструкцией [4]. Фундаментальный труд А.А. Глухова, помещающий русский идеализм в общий структурный контекст постницшеанского преодоления платонизма, и представляющий символизм как необходимый этап становления социально-политических теорий XX в., позволяет увидеть в лингвофилософских исканиях символистов часть глобального интеллектуального сдвига, направленного на поиск новых оснований мысли после кризиса классической метафизики [3, с. 12].

Таким образом, русский символизм, с одной стороны, предстает не локальным явлением, а полноправным участником общеевропейского процесса переоценки отношений между языком, сознанием и бытием; с другой — не только как объект для постструктуралистского анализа, но и как уникальная лаборатория, где в зародышевой форме вызревали многие идеи, радикализованные последующей философской мыслью XX в. Реконструкция этого «русского протопостструктурализма» позволяет, во-первых, глубже понять сам символизм и, во-вторых, прояснить различия внутри самого постструктуралистского поля, например, между деконструкцией Деррида и риторическим анализом де Мана, которые по-разному артикулируют проблему отношения между смыслом и материей знака. Потебнианство живо и сейчас: так, Д.В. Кобленкова, анализируя категорию условности в советском и постсоветском литературоведении, прямо возводит ее к идее Потебни о неизбежной символизации искусства, обусловленной наличием «свободного пространства смысла» между внутренней и внешней формой [7, с. 7].

Концепт «внутренней формы слова» у А.А. Потебни: основа для символистских спекуляций

Чтобы понять напряженность символистской рецепции, необходимо кратко обозначить те аспекты теории Потебни, которые оказались в центре их внимания. В своей концепции слова Потебня

выделял три составляющих: 1) *внешняя форма* (звуковой облик, фонетическая оболочка); 2) *внутренняя форма* (образ, ближайшее этимологическое значение, тот способ, которым содержание представляется в слове); и 3) *собственно значение* (содержание, понятие) [32, с. 114].

«Внутренняя форма» — сердцевина потебнианской лингвистики [6]. Она является тем мостом, который связывает абстрактное понятие с чувственным образом. Например, во слове «подснежник» внутренней формой является образ «под снегом», который когда-то был актуальным для носителей языка.

> «*Внутренняя форма* слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета и, наоборот, одно слово, совершенно согласно с требованиями языка, может обозначать предметы разнородные» [32, с. 91].

Потебня настаивал на том, что язык — это не застывшая система, а непрерывный творческий акт (*энергейя*, по В. Фон Гумбольдту), и поэзия является высшим проявлением этой творческой силы. Задача поэта — оживлять утрачиваемую со временем образность языка, вновь наполнять слова живым смыслом:

> «В известные периоды живость внутренней формы дает мысли возможность проникать в прозрачную глубину языка; слово, обозначающее, положим, старость человека, своим сродством со словами для дерева указывает на миф о происхождении людей из деревьев, по-своему связывает человека и природу, вводит, следовательно, мыслимое при слове *старость* в систему, своеобразную, не соответствующую научной, но предполагаемую ею» [32, с. 145].

Именно здесь и заключено фундаментальное противоречие, сделавшее Потебню столь важным и одновременно проблематичным для символистов. С одной стороны, его теория предлагала онтологическое обоснование слова: внутренняя форма представала как гарант смысла, как свидетельство изначальной, почти сакральной связи между знаком и обозначаемым. Это открывало путь для символистской теургии — веры в то, что поэт, манипулируя внутренней формой, может непосредственно влиять на реальность. С другой сто-

роны, Потебня подчеркивал историческую изменчивость и ситуативное умирание внутренней формы. Слово, по его мнению, со временем «стирается», превращаясь из живого образа в условный знак:

> «Если помнится центральный признак образа, выражаемый словом, то он, как мы уже сказали, имеет значение не сам по себе, а как знак, символ известного содержания; если вместе с образованием понятия теряется внутренняя форма, как в большей части наших слов, принимаемых за коренные, то слово становится чистым указанием на мысль, между его звуком и содержанием не остается для сознания говорящего ничего среднего. Представлять значит, следовательно, думать сложными рядами мыслей, не вводя почти ничего из этих рядов в сознание» [32, с. 146–147].

Эта идея исторической неустойчивости, принципиальной незавершенности языкового смысла, предвосхищала позднейшие идеи деконструкции о нефинализируемости значения и его зависимости от бесконечного контекста. Таким образом, теория Потебни изначально содержала в себе зерно как для онтологического укрепления слова, так и для его последующего размыкания в поле текстуальной игры.

Символистский проект: между онтологизацией и деконструкцией слова

Общий контекст символистского отношения к языку определялся его романтически-онтологическими претензиями. Символисты видели в слове не просто инструмент коммуникации, а магический ключ к постижению высших, трансцендентных сущностей. Их проект был грандиозной попыткой онтологизировать слово, вернуть ему утраченную сакральную силу, сделать его проводником в мир идей и первообразов. Слово-символ должно было не описывать реальность, а являть ее сокровенную суть, быть «окном» в инобытие.

Однако парадоксальным образом сама практика и теория символизма постоянно порождала противоположную тенденцию. Стремление к абсолютному смыслу, к преодолению материальной оболочки знака, наталкивалось на сопротивление самой материи. Интенсивная работа со звуком, ритмом, графикой, многослойными ассоциациями — всем тем, что составляет плоть языка, — вела к обнажению условности знака, к акцентированию его игровой, дифференциальной природы. Чем больше символист-теург пытался подчинить сло-

во высшему смыслу, тем больше символист-мастер обнаруживал его самостоятельную, почти автономную жизнь. Эта внутренняя антиномия — между волей к абсолюту и осознанием принципиальной опосредованности, материальности языкового выражения — и делает диалог символизма с постструктурализмом особенно продуктивным. Символисты, сами того не ведая, оказались на переднем крае той критики метафизики присутствия, которую позже развернули Деррида и его последователи.

Рассмотрение антиномий символизма не ограничивается триадой Брюсов — Белый — Флоренский. Как показывает К.Ю. Лаппо-Данилевский, Вячеслав Иванов, находясь в сложном диалоге и с потебнианством, и с утверждающимся формализмом, стремился обновить психолингвистическую теорию, выдвинув понятие «звукообраза» как изначальной сопряженности звука и смысла [9, с. 45]. Эта общесимволистская установка на поиск изначальной, дорациональной связи между знаком и сущностью, восходящая к платонизму, получает в работах А.И. Пигалева [19; 20; 21] серьезное философское обоснование. Исследователь, анализируя границы «визуального режима модерна», указывает, что переход от «неорганизованного мышления» премодерна к логике модерна был сопряжен с подавлением синкретического, «бриколажного» способа видения и мышления [21, с. 15]. Символистский проект, с этой точки зрения, можно рассматривать как попытку реактивации этого «дологического» пласта сознания внутри самой эпохи репрезентации, что сближает его с позднейшими поисками деконструкции, стремящейся вскрыть подавленные возможности мышления.

Валерий Брюсов: ученый-деконструктор versus поэт-теург

Анализ отношения Валерия Брюсова к Потебне наглядно демонстрирует это внутреннее противоречие. В фигуре Брюсова сосуществовали, а часто и конфликтовали, два начала: «ученого»-филолога, трезвого аналитика языка, и поэта-символиста, провозглашавшего его теургическую функцию.

Как уже показано в наших предыдущих исследованиях, Брюсов, опираясь на Потебню, сознательно деконструировал классические лингвофилософские модели, интерпретируя язык как поле временных условностей, где искусство существует в антиномии уже сложившихся и потенциальных форм [12]. Его метод, основанный на подчас произвольном обращении с историко-философскими данными

для обоснования общезначимости поэзии, предвосхищает постструктуралистскую деконструкцию, акцентируя противоречивость языковых структур. Эта «политика темпоральности», направленная на манипуляцию эстетическим опытом для широкого признания, сближает Брюсова с некоторыми стратегиями исторического авангарда [14]. В этом ключе брюсовская рецепция Потебни, как мы уже показывали, оказывается не пассивным усвоением, а активным инструментом литературной борьбы, где учение о «внутренней форме» используется для деконструкции базовых антиномий и утверждения новой — между онтологией и гносеологией искусства.

Для Валерия Брюсова, чье мировоззрение было отмечено прогрессизмом и рационализмом, усвоенными через школьный канон, кантовские антиномии выступали не как трагический тупик, но как фундаментальный закон мысли, который можно и нужно применить к теории языка. В его подходе к Потебне ясно прослеживается работа кантовской дихотомии между рассудком (Verstand), оперирующим конечными, ясными понятиями, и разумом (Vernunft), стремящимся к безусловному синтезу и постижению абсолютного. Брюсов-филолог, «ученый», действует в поле рассудка. Здесь он принимает Потебню как систематизатора, вскрывающего механизмы языковой образности. Его лингвистические штудии — это трезвый анализ «внутренней формы» как исторического конструкта, подверженного изменению и «стиранию». В итоговом труде «Синтетика поэтики» (1924) Брюсов, пытаясь синтезировать потебнианство и марксизм, прямо говорит об этом: «С развитием речи первые два элемента имеют наклонность к вымиранию. Современный человек непосредственно не воспринимает звука слова и уже не чувствует скрытого в нем образа; слова все больше и больше становятся значками понятий» [31, с. 336]. В этом ключе теория Потебни интерпретируется им почти позитивистски: язык есть объективная данность, чья структура может быть изучена и классифицирована. Эта позиция соответствует антитетической стороне кантовских антиномий, которая, по замечанию Флоренского, настаивает на «непредставимости» конечного, замкнутого мира смысла, требуя бесконечного движения вглубь языковой материи, в бесконечный ряд причин и условий [35].

Однако Брюсов-символист, «теург», устремлен к кантовскому разуму, к безусловному. Его поэтологический манифест «Ключи тайн» (1904) — это гимн разуму, стремящемуся преодолеть все ограничения рассудка (в кантовском смысле):

> «Теперь оно сознательно предается своему высшему и единственному назначению: быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по причинности. Не мешайте же новому искусству в его, как иной раз может показаться, бесполезной и чуждой современных нужд, задаче. Вы мерите пользу и современность слишком малыми мерами» [31, с. 97].

Для этого Брюсова «внутренняя форма» Потебни превращается из объекта анализа в инструмент теургии, в точку опоры для прорыва к абсолюту. Если рассудок видит в слове условный знак, то разум требует, чтобы слово было самой сущностью. Таким образом, брюсовская рецепция Потебни оказывается полем применения кантовской антиномии: рассудочный анализ языка, видящий в нем конечную, дискретную систему, вступает в неразрешимое противоречие с разумным синтезом, требующим от языка бесконечной, абсолютной выразительности. Брюсов не разрешает это противоречие, но проживает его, и в этом «глитче» между двумя установками — аналитической деконструкцией и онтологизацией — рождается уникальный напряженный характер его творчества, предвосхищающий позднейшие попытки помыслить одновременно и системность, и радикальную открытость языкового знака.

Со стороны «ученого» Брюсов принимал и глубоко усвоил идеи Потебни об исторической изменчивости языка. Его собственные лингвистические штудии, вполне потебнианский интерес к этимологиям, к технике стиха, можно рассматривать как своеобразную «деконструкцию до деконструкции». Брюсов-аналитик видел в языке не сакральную данность, а исторический конструкт, материал, подчиняющийся определенным, поддающимся изучению законам. В этом ключе он воспринимал и Потебню — как исследователя, вскрывающего механизмы работы языковой образности. Потебня открывает возможность применить категорию внутренней формы к анализу конкретных поэтических текстов, что свидетельствует о трезвом, почти структуралистском подходе к языку как к системе, на чем и настаивает М.Л. Гаспаров. В статье «Брюсов-стиховед и Брюсов-стихотворец» он проницательно показывает, как множество образцов, от Верлена до Верхарна и Пастернака воспринимались Брюсовым не просто как предмет для подражания, а как внутренняя форма для нового внешнего разнообразия возможностей русского стиха: «Брюсов-теоретик и Брюсов-практик идут здесь в ногу: первый подмечает тенденцию, второй реализует и даже гиперболизирует ее» [2, с. 417].

Однако Брюсов-поэт провозглашал иную программу. В своих манифестах он говорил о поэте как о демиурге, маге, творящем новые

миры силой слова. «Создания искусства — это приотворенные двери в Вечность», — писал он в «Ключах тайн» [31, с. 94]. Здесь слово должно было преодолеть свою материальную ограниченность, стать проводником абсолютного смысла. В этом стремлении Брюсов пытался опереться на Потебню, видя во «внутренней форме» тот самый механизм, который позволяет слову быть не условным знаком, а живым воплощением идеи.

Это противоречие порождало специфические «сбои» и «глитчи» в его освоении теории. В уже упоминавшемся позднем, вполне советском научном выступлении «Синтетика поэтики» Брюсов, с одной стороны, пытается выстроить строгую научную систему на основе потебнианских категорий, а с другой — постоянно сбивается на язык мистических откровений, когда речь заходит о творческом акте:

> «Истинный поэт, создавая свое произведение, мыслит синтезами представлений. В них-то и выражается его подлинная идеология. Напротив, те отвлеченные, аналитические суждения, которые он вводит в свое произведение, могут в гораздо меньшей степени отражать его подлинное миросозерцание» [31, с. 338].

Получается, что синтез представлений не может контролироваться суждениями, но оказывается эффектом творчества как теургического акта, обеспечивающего наиболее надежный и всемирный синтез. Можно было бы разобрать всю эту статью как удивительный документ, где Брюсов, настаивая на научной пользе поэзии, враждует против научного аналитизма, говоря о поэзии как мышлении образами, производящем новые идеи, т. е., по сути, новые теургические инструменты. Отношение Брюсова к Потебне — это напряженный диалог между позицией трезвого аналитика, видящего в слове исторический конструкт, и позицией мага, верящего в его абсолютную творческую мощь. Это диалог, в котором сама возможность «внутренней формы» как гаранта смысла постоянно ставится под сомнение аналитической практикой.

Это внутреннее противоречие Брюсова находит удивительные параллели в эволюции постструктуралистской мысли. Его позиция «ученого-филолога», вскрывающего исторические наслоения и условность языковых конструкций, предвосхищает холодную аналитичность позднего Поля де Мана, с его интересом к «идеологии эстетического» и «сопротивлению теории», где язык предстает как материальный механизм, несущий в себе следы своих исторических мистификаций: «В качестве свободного агента естественная установка

автора принуждает его к экспансии, к сохранению себя для всего мира, однако он испытывает постоянную фрустрацию и лишенность из-за ограничений, налагаемых на него формой» [11, с. 64]. В то же время, брюсовская вера в теургическую мощь слова, в его способность творить новые миры, перекликается с пафосом раннего Деррида — не столько с его более поздними текстами о справедливости и гостеприимстве, сколько с радикальным жестом «Грамматологии» [5], где письмо (écriture) понимается как изначальная и безграничная сила смыслопорождения, предшествующая метафизике присутствия. Таким образом, в фигуре Брюсова одновременно угадываются два полюса будущего постструктуралистского проекта: его ранняя, нигилистически-освободительная фаза (ранний Деррида) и его поздняя, трезво-критическая фаза (де Ман и его школа) [11].

Андрей Белый: от внутренней формы к ритмическому жесту и анаграмматическому смыслу

Если Брюсов воплощал в себе противоречие между ученым и теургом, то Андрей Белый представляет собой наиболее радикальную и системную попытку не просто применить теорию Потебни, но диалектически преодолеть ее, выйдя к новым горизонтам понимания языка. В его работах — от ранних статей до фундаментального труда «Глоссолалия. Поэма о звуке» [29] — концепт «внутренней формы» подвергается кардинальной трансформации. Она постепенно утрачивает свою исконную связь с устойчивым этимологическим образом и превращается в динамический, энергетический жест, имманентный самой звуковой и ритмической материи слова.

Современный взгляд на наследие Белого позволяет глубже понять генезис его энергетической модели языка. Н.В. Патроева, анализируя семантический потенциал слова и цитируя беловский «Символизм»: «…восприятие живой, образной речи побуждает нас к творчеству… и поэтический образ досоздается — каждым; образная речь плодит образы; каждый человек становится немного художником, слыша живое слово», — напоминает, что этот тезис полностью зависим от Потебни [17, с. 67]. Акцент на со-творчестве адресата, на безграничной изменчивости смысла в противовес «неподвижному» образу, является краеугольным камнем подхода Белого. Однако, как мы уже говорили, радикальное переосмысление Потебни было общим местом для символистов. Если Брюсов видел в языке поле условностей, то Белый, напротив, стремился найти в нем онтологическую основу, «соборную

среду», объединяющую индивидуальное творчество и коллективное сознание [12]. Его интерес к «звукообразам» и праязыку сталкивался с фундаментальной проблемой: любая вера в существование Праязыка, как отмечает В.А. Сухарева, сравнившая Андрея Белого и Жака Деррида, исключает саму необходимость познания, превращая его в простое «воспроизведение и повторение имплицитно содержащегося в Праязыке Первознания» [22, с. 354]; ср.: [24]. Таким образом, проект Андрея Белого балансирует на грани онтологизации и деконструкции, предвосхищая позднейшие споры о природе смысла.

Для Белого, глубоко и систематически изучавшего Канта и пережившего период его буквального «боготворения», а затем и столь же страстного отвержения, антиномичность была не внешней проблемой, а внутренним двигателем его мысли. Если Брюсов применял антиномию к языку, то Белый увидел, что сам язык, в его динамике, и есть процессуальное развертывание антиномии. Его попытка преодолеть Потебню — прямая проекция попытки преодолеть Канта. Белый воспринял от Канта саму структуру антиномического мышления, но отверг его агностический вывод о непознаваемости «вещи в себе». Для Белого антиномии — не иллюзия, которую нужно развеять, указав на идеальность пространства и времени, а живая пульсация самой реальности, которая должна быть снята в высшем синтезе.

Именно этот синтез он и пытается осуществить, трансформируя потебнианскую «внутреннюю форму». Статичная, данностная «внутренняя форма» Потебни, гарантирующая смысл, соответствует для Андрея Белого рассудочному моменту, кантовскому «закону тождества», который фиксирует понятия. Но этого недостаточно. Подлинная жизнь языка, по Белому, раскрывается в его динамике, в ритме, жесте, звуке, что соответствует кантовскому «закону достаточного основания», требующему бесконечного выхода за пределы любого данного А: «Непосредственная передача тех или иных сторон действительности — вот область пространственных форм искусства. В поэзии мы встречались с посредственной передачей всей действительности» [30, с. 133]. Андрей Белый диалектически снимает антиномию: «внутренняя форма» перестает быть устойчивым образом-посредником и становится самой энергией смыслопорождения, имманентной материи языка. Его интерес к анаграммам и ритму — это поиск того синтеза, где тождество (узнаваемый звуковой повтор) и различие (бесконечный сдвиг смысла) совпадают. В его системе мысли Кант преодолевается через радикализацию его же метода: антиномия не запрещает познание абсолютного, а, наоборот, служит его единственным путем, который пролегает не в сфере чистого

разума, а в стихии творящего языка, где «[в]есь процесс творческой символизации уже заключен в средствах изобразительности, присущих самому языку» [30, с. 323], что и рождает непрестанное творческое движение.

В статьях, вошедших в книгу «Символизм» (1910), Андрей Белый постоянно исходит из потебнианской посылки: язык есть творчество, а поэзия — его высшая форма. Однако для него творчество — это не восстановление утраченного этимологического образа, а спонтанный взрыв, рождение смысла *здесь и сейчас* в акте произнесения-слышания. Именно в этом он видит органичность слова, в отличие от схематичности других искусств. В таком ракурсе «внутренняя форма» перестает быть застывшим историческим наследием и становится функцией ритма, интонации, звукового повтора. Знаменитый многостраничный анализ ритма русских ямбов, как и анализ магии слов [30] — это, по сути, попытка обнаружить «внутреннюю форму» не на уровне лексемы, а на уровне сверхфразового единства, ритмической волны, которая и является подлинным носителем смысла-энергии.

Такой подход удивительно созвучен постструктуралистским интуициям, в частности, концепту «гено-текста» Юлии Кристевой. Кристева противопоставляет «фено-текст» (завершенное высказывание, коммуникативное сообщение) и «гено-текст» — досубъектную, ритмически-звуковую пульсацию («При восхождении по вертикали мы обнаруживаем (лингвистическую) операцию порождения фенотекста» [8, с. 294]), следы которой присутствуют в тексте в виде нарушений синтаксиса, звуковых повторов, ритмических сбоев:

> «Мы видели, что акт, конституирующий знак, является актом деспациализации: он сводит объем к поверхности, практику — к звуковой цепочке и, вытесняя многомерность, ставит на ее место интенциональность, то есть смысл» [8, с. 99].

Анализ Андреем Белым стихотворной речи — это, по сути, поиск «гено-текстуального» измерения, той самой «хоры» (термин как Деррида [5, с. 79–80], так и Кристевой, сближающей его с женской утробой), где смысл еще не оформился, но уже пульсирует в виде ритмических и звуковых жестов. Интерес Белого к анаграммам, палиндромам, звуковой инструментовке стиха можно прочитать как интуитивное предвосхищение идеи Жака Деррида о письме как игре различий [5], где смысл рождается не из референции к внеязыковой реальности, а из дифференциальных отношений между знаками.

Особую значимость в этом контексте приобретает интермедиальный аспект мысли Белого. Его антропософские поиски «внутренней формы» в ритме и звуке — это попытка выйти за пределы чисто вербальной семиотики в область музыки и жеста. Здесь продуктивно сопоставление с медиатеорией Фридриха Киттлера, который настаивал на материальной, технической обусловленности дискурсивных сетей [28]. Подобно тому как Киттлер анализировал, как фонограф или пишущая машинка трансформируют саму природу письма, Белый интуитивно чувствовал, что «носителем» смысла является не абстрактное слово, а конкретная звуковая материя, ритмическое тело стиха, которое можно измерить и просчитать, но чья смыслопорождающая энергия всегда ускользает от финальной концептуализации. Его теория предстает как попытка найти новый, не-потебнианский фундамент для языка, основанный уже не на образе-представлении, а на ритме и музыке, что предвосхищает не столько «критику медийного постиндустриального капитализма», сколько сам подход, рассматривающий медиум (звук, ритм) как со-автора смысла.

Таким образом, у Андрея Белого происходит окончательный разрыв с онтологизирующей трактовкой «внутренней формы». Слово для него — это не статичный носитель смысла, а энергетический сгусток, вихрь звуков и ассоциаций, чей смысл принципиально нестабилен и зависит от его положения в ритмико-интонационном потоке. В его системе символизм максимально приближается к тому, что позже будет названо «текстуальностью» — бесконечной игрой означающих, где любой финальный смысл откладывается.

Радикализм беловского проекта позволяет провести параллели не только с константами постструктуралистской мысли, но и с ее внутренней эволюцией. Его ранние поиски «гено-текстуальной» пульсации в ритме и звуке напрямую созвучны проекту ранней Юлии Кристевой, с ее интересом к «семиотическому хору» и взрывной, до-символической телесности, предшествующей устойчивому означающему. Однако по мере того, как Белый движется к созданию все более универсальных, хотя и антиномичных, систем («Глоссолалия»), его мысль начинает сближаться с интенциями позднего Деррида 1980-х годов, который, не отказываясь от идеи *дифферанса*, все чаще говорит о «мессианском без мессианизма», о некоем «грядущем» (à venir) смысле, который не присутствует, но чье ожидание структурирует опыт [27]. Аналогично, Белый, разрушая старую онтологию, стремится построить новую — на основе музыки и ритма, предвосхищая этот дерридианский жест ожидания смысла, который всегда в процессе, но никогда не дан окончательно.

Павел Флоренский: теологическая онтология слова versus семиотический анализ

Наиболее глубокое и парадоксальное прочтение кантовских антиномий мы находим у Павла Флоренского, который, будучи блестящим математиком, досконально проанализировал их логическую структуру в работе «Космологические антиномии И. Канта» [34], но при этом видел в Канте «столп злобы богопротивныя», как он заявил во вступительной речи к защите своей диссертации. Этот конфликт проистекает из фундаментального расхождения в цели: если Кант, по мнению Флоренского, использует антиномии, чтобы показать невозможность рационального познания абсолютного и, следовательно, невозможность культа как осмысленного соединения с трансценденцией, то Флоренский видит в антиномичности само условие возможности веры и догмата. Для него антиномия — не признак слабости человеческого разума, а отражение антиномичности самой Божественной реальности, которая не может быть уложена в прокрустово ложе закона тождества.

Этот подход определяет и его рецепцию Потебни. Флоренский строит свою собственную, теологическую антиномию слова. С одной стороны, как православный мыслитель, он утверждает тезис: слово, особенно имя Божие, есть сама энергия божественной сущности, «внутренняя форма» является прямым откровением Логоса в материи, она являет «силу Логоса, претворяющего в Разум косные, темные и слепые стихии» [35, с. 165]. Это соответствует онтологизирующему прочтению Потебни, где связь между звуком и смыслом абсолютна и богоустановленна. С другой стороны, Флоренский, семиотик и историк культуры, выстраивает антитезис: этот абсолютный смысл дан человеку только через конкретные, изменчивые, материальные языковые механизмы, культурные коды и исторические наслоения, которые подвержены исследованию и анализу. В этом он радикализирует вторую, «разлагающую» сторону теории Потебни.

Разрешение этой антиномии у Флоренского не логическое, а онтологическое и мистическое. Он не снимает противоречие, а удерживает его в напряжении, усматривая в этом суть догматического сознания. «Внутренняя форма» Потебни становится у него точкой встречи двух планов бытия: нетварной, воспринимаемой индивидом божественной энергии и тварной общей материи языка: «Внешняя форма служит общему разуму, а внутренняя — индивидуальному» [35, с. 234]. Таким образом, Флоренский использует логический аппарат Канта для целей, прямо противоположных кантовским: чтобы

обосновать не невозможность, а возможность культового, мистического соединения с абсолютом через слово, которое одновременно и условно (как человеческий знак), и безусловно (как божественная энергия), — на что он и тратит много усилий далее, обосновывая магичность слова через физикалистские и медиалогические модели энергии [35, с. 254–258]. Его отношение к Потебне — это модель того, как символизм пытался преодолеть кантовский агностицизм, не отвергая его критический пафос, но превращая его в основание для новой, антиномической онтологии.

Флоренский предлагает, пожалуй, самый сложный и антиномичный случай, представляя собой уникальный синтез, в котором предельная онтологизация слова сосуществует с его тончайшим семиотическим анализом. С одной стороны, Флоренский как православный мыслитель выстраивает цельную теологическую онтологию слова, восходящую к неоплатонизму и патристике, где Слово (Логос) является прямой энергией божественной сущности. В этом ключе он использует и Потебню, видя во «внутренней форме» проявление божественного замысла, сокрытого в материи языка. Для Флоренского имя — не условный знак, а сама сущность именуемого, его «энергия». Эта позиция наиболее полно выражена в его работе «Имена» и тесно связана с философией имяславия, которая утверждает, что «имя Божие есть сам Бог». Здесь «внутренняя форма» обретает статус абсолютного гаранта смысла, богоустановленной связи между звуком и идеей.

С другой стороны, Флоренский, семиотик и лингвист, в той же работе «Имена» [33] проводит виртуозный структурный, историко-культурный и лингвистический анализ имен, показывая, как высший, божественный смысл преломляется через конкретные культурные коды, фонетические законы и языковые механизмы. Он скрупулезно исследует звуковые оболочки слов, их этимологию, их бытование в разных традициях, демонстрируя, что путь имени в истории — это история его материальных воплощений и трансформаций.

Это создает уникальное и напряженное противоречие между абсолютной, богословской гарантией значения и его относительным, культурно и материально обусловленным историческим воплощением. Флоренский, по сути, описывает тот же разрыв, что и Деррида — разрыв между «трансцендентальным означаемым» (Бог как абсолютный смысл) и игрой означающих (историческая жизнь слова); но в отличие от французского философа, он стремится не деконструировать этот разрыв, а удержать обе стороны в парадоксальном единстве. Его можно интерпретировать как специфически религиозный вариант проблемы, поднятой позднейшей деконструкцией.

Важно подчеркнуть, что трактовка Флоренским божественной энергии как оперативного медиума является глубоко синтетической и укоренена не только в паламитском богословии, но и в философско-лингвистической традиции, идущей от Вильгельма фон Гумбольдта и Александра Потебни. От Гумбольдта Флоренский заимствует фундаментальный тезис о языке как непрерывной творческой деятельности (energeia), а не застывшем продукте (ergon). Эта лингвистическая «энергейя» становится для него секулярным аналогом и инструментом осмысления богословской «энергии» — нетварной божественной силы, сообщаемой твари. Далее, он диалектически снимает и преодолевает потебнианскую концепцию «внутренней формы». Если у Потебни «внутренняя форма» — это исторически изменчивый и в конечном счете стирающийся образ-посредник, то Флоренский онтологизирует и абсолютизирует этот механизм. В его системе «внутренняя форма» слова, особенно имени Божьего, становится неизменным каналом, самой оперативной структурой, через которую божественная энергия-энергейя сообщается миру. Таким образом, Флоренский строит свою теорию имени на уникальном синтезе: паламитское учение об энергиях обеспечивает онтологический статус передаваемого содержания, а гумбольдтианско-потебнианская лингвистика — функциональное описание самого медиативного процесса, превращая имя в динамический аппарат по трансляции абсолютного смысла.

Д.С. Бирюков и А.А. Гравин показывают, как гумбольдтианско-потебнианская линия, связанная с «внутренней формой», и «магико-ориентированная» линия в размышлениях о слове сходятся в принципе интенциональности [1, с. 281]. Мера «магической мощи» слова связывается Флоренским с мерой присутствия личностной интенции в речи, что позволяет ему преодолеть психологизм поздних потебнианцев. Эта интенциональная энергия получает у Флоренского теологическое измерение в контексте имяславия, воспринятого теургически [24] и, добавим уже мы чуть ниже, медиаархеологически.

Действительно, особая глубина и современность интерпретации имяславия у Флоренского открывается сквозь призму медиаархеологии [25; 28]. В отличие от упрощенного мистического прочтения, где Имя и Бог мыслятся в статичном тождестве, Флоренский предлагает динамическую и, по сути, медиальную модель. Он воспринимает Имя не как субстанцию, а как энергию — категорию, заимствованную им одновременно из паламитского богословия и из гумбольдтианско-потебнианской философии языка. В такой синтетической конструкции Имя-как-энергия функционирует как универсальный медиативный

интерфейс, осуществляющий передачу божественного присутствия через материальную специфику языкового знака — его фонетику, графику, этимологию. Флоренский-богослов и Флоренский-семиотик здесь неразделимы: его анализ имяславческих текстов превращается в скрупулезное исследование материальных носителей благодати, где богословская онтология встречается с техникой.

Этот «мистический панмеханизм» позволяет провести уже прямую параллель с проектом медиаархеологии, в частности, с работами Фридриха Киттлера [28] и Зигфрида Цилински [25]. Подобно тому, как Киттлер настаивал на том, что «медиумы определяют нашу ситуацию», исследуя, как фонограф или кинематограф переопределяют саму возможность записи и передачи опыта, Флоренский анализирует имя как архаичный, но предельно эффективный медиативный аппарат. Его интерес к технике молитвы, к материальному воплощению слова в иконе или литургическом действе, созвучен стремлению Цилински отыскать в истории медиа «глубокое время» [25] альтернативных и подавленных путей развития. А его скрупулезное внимание к тому, как именно божественная энергия кодируется в фонетических и графических структурах, предвосхищает интерес Киттлера к «материальному слову» и тому, как конкретные технологии письма — от свитка до цифрового кода — формируют саму ткань культурного и, в случае Флоренского, сакрального опыта. Таким образом, версия имяславия Флоренского предстает не просто богословской доктриной, а грандиозной медиа-теорией до медиатеории, где универсальным медиумом выступает сам язык, понимаемый как богоустановленный «инструмент» по трансляции трансцендентного в имманентное.

В связи с большим количеством существующих исследований по имяславию, фокус в нашем анализе смещается на вопрос *механики*. Флоренский выстраивает своего рода *мистический панмеханизм*. Он верит, что божественный смысл не просто присутствует в имени, но передается через строго организованные материальные каналы — звуковые вибрации, графические начертания, ритмические структуры. Вера в то, что трансцендентное имманентно материальной организации знака, предвосхищает критику структуралистского прочтения медиа как нейтральных кодов и каналов и одновременно радикально отличается от нее. Постструктуралистская медиатеория (как у Киттлера) настаивает на том, что материальная организация медиа сама формирует смысл, не отсылая ни к какой внешней трансценденции. Флоренский же утверждает, что материальная организация языка *и есть* тот самый божественный интерфейс, механизм

передачи абсолютного смысла. Его система — это онтологизированный структурализм, где структура не просто описывает отношения между элементами, но является отражением божественного Логоса.

Г.Л. Тульчинский, анализируя множественные истоки «глубокой семиотики», указывает на имяславие как на ключевой феномен, в котором личностное переживание предстало условием порождения социально-культурного опыта, обусловившего религиозно-реформационный потенциал «серебряного века» [23, с. 120]. Разумеется, этот реформационный комплекс, не приведший к исторической Реформации, потом реализовывался, как отмечает Л.А. Петрова, в области модальностей, когда и литургическое слово понимается как особая модальность у С.Н. Булгакова [18, с. 228]. Но модальный подход не противоречит медиа-деконструкции: актуализация сакральной отнесенности зависит не от самого имени, а от способа его употребления в речи, например, в молитве, что тоже говорит о медиаобеспечении слова. Весь этот комплекс идей — энергия, интенциональность, магичность — позволяет рассматривать Флоренского не только как богослова, но и как создателя оригинальной медиа-антропологии.

Уникальность антиномии Флоренского позволяет провести сложные параллели с поздними фазами постструктурализма. Если его теологический тезис об онтологии имени кажется диаметрально противоположным любой деконструкции, то его антитезис — скрупулезный семиотический анализ — находит неожиданного союзника в поздней философии Жана-Люка Нанси, в его концепции «расчлененной со-вместности» (être singulier pluriel) и «деконструкции христианства» [16]. Как и Флоренский, Нанси интересует не отрицание трансценденции, но ее «взвешенное открытие» (déclosion) внутри самого имманентного опыта. С другой стороны, мистический панмеханизм Флоренского, его вера в то, что божественный смысл передается через материальные механизмы языка, как мы уже сказали, предвосхищает медиа-археологический проект позднего Фридриха Киттлера, который изучал, как технические медиумы (от фонографа до кода) детерминируют сами возможности «письма» и смысла, по сути, являясь современной, секулярной версией идеи о материи как божественном интерфейсе. Итак, Флоренский оказывается в диалоге не с ранним, «разрушительным», постструктурализмом, а с его зрелыми версиями, занятыми поиском новых (пост-метафизических) форм трансцендирования и анализа материальных условий самого смысла.

Заключение. Символизм как преддверие постструктуралистского поворота

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что русский символизм, при всех его романтически-онтологических предпосылках, связанных с социально-политическим контекстом эпохи (от элитистского индивидуализма до коллективных духовных исканий имяславия), осуществил глубочайшую и во многом провидческую работу с языком, которая привела его к осознанию проблем, центральных для постструктурализма. Подобно тому как сам постструктурализм возник как результат непредсказуемых деформаций поля левой политики, обнаживших усложненные структуры самого общества, символизм, пытаясь найти язык для выражения нового мироощущения, обнажил усложненную и антиномичную структуру самого языка.

Противоречивое отношение символистов к Потебне — от попыток опереться на его теорию как на фундамент для онтологизации слова до стремления ее превзойти и трансформировать — является ярким свидетельством этого движения. Они интуитивно нащупали зыбкость границы между «внутренней формой» как гарантом стабильного смысла и «материей» языка как полем бесконечной игры, дифференциации и смыслопорождения. В лице Брюсова мы видим раскол между аналитиком-деконструктором и теургом. В лице Андрея Белого — радикальный сдвиг от статичного образа к динамическому ритмическому жесту, предвосхищающий интерес постструктурализма к до- и вне-смысловым пульсациям текста. В лице Флоренского — парадоксальное единство абсолютной теологической гарантии значения и его тотальной зависимости от материальных, семиотических механизмов.

Таким образом, сквозным сюжетом, объединяющим рецепцию Потебни в символизме и последующее развитие постструктурализма, является *отчетливый дрейф от ранней радикальности к поздней сложности*. Этот вектор прослеживается на всех уровнях анализа: ранний Брюсов, разрывающийся между теургией и анализом, и поздний Брюсов, принимающий эту антиномию как условие работы; ранний Белый, устремленный к экстатическому преодолению форм, и поздний Белый, выстраивающий сложнейшие системные синтезы ритма и смысла; ранний Флоренский, резко противопоставляющий Канта и Платона, и поздний Флоренский, чья мысль работает как антиномический механизм, удерживающий напряжение между онтологией и семиотикой. Этой внутренней динамике символистов точно соответствует магистральная траектория постструктурализма:

переход от раннего Деррида с его пафосом деконструкции метафизики присутствия к позднему, занятому поиском «мессианского без мессианизма»; от ранней Кристевой с ее интересом к взрывному «семиотическому» к поздней, исследующей проблемы отчуждения и идентичности; от раннего де Мана [10], сосредоточенного на риторических тропах, к позднему, сфокусированному на идеологии эстетического и апориях исторического познания [11]. Символистская лаборатория, как выясняется, интуитивно смоделировала не только отдельные идеи, но и саму логику эволюции той философской традиции, которая считается ее прямой противоположностью, что заставляет видеть в их наследии не предысторию, а полноправный и провидческий этап в истории мысли о языке.

Русский символизм можно рассматривать не только как объект для постструктуралистского анализа, но и как уникальную лабораторию, где в зародышевой форме вызревали многие идеи, радикализованные последующей философской мыслью XX в. Символисты интуитивно нащупали не просто отдельные постулаты, но и саму логику развития будущего постструктуралистского проекта. Внутренняя эволюция ключевых фигур символизма — от брюсовского противостояния теурга и аналитика к беловскому синтезу и флоренской антиномической онтологии — удивительным образом предвосхищает траекторию движения западной теории от ее радикального «раннего» периода к более сложному и рефлексивному «позднему». Проведенный анализ, опирающийся на широкий корпус новейших исследований, подтверждает, что русский символизм был не преддверием, а полноценной и мощной версией «постструктуралистского поворота» до его официального провозглашения. Работы последних лет [1; 13; 15; 12; 14 и др.] позволяют говорить о сложной картине рецепции Потебни, где каждый из символистов создавал свою стратегию работы с ключевыми антиномиями языка. Религиозно-философский контекст, в частности имяславие, рассмотренный в трудах [18; 23; 26], предстает не как маргинальный сюжет, а как лаборатория по выработке новых моделей языковой деятельности, основанных на интенциональности и энергии. Таким образом, диалог с Потебней стал для символистов способом артикуляции фундаментальных проблем, которые и сегодня остаются в центре внимания философии, лингвистики и медиатеории, что делает их наследие не историческим курьезом, а живым ресурсом для современной мысли.

Понимание этого «русского прото-постструктурализма» позволяет лучше понять и внутренние различия внутри самого постструктуралистского проекта, увидев в них не просто национальные или

дисциплинарные особенности, но различные способы артикуляции фундаментальных антиномий, впервые с такой остротой проявившихся в символизме. Так, «материалистическая» и риторическая деконструкция позднего Поля де Мана, с ее вниманием к слепым пятнам текста, находит параллели в трезвом анализе Брюсова. Динамическая, энергетическая модель языка у Андрея Белого оказывается созвучной поискам как ранней Кристевой, так и позднего Деррида. А антиномический синтез Флоренского вступает в диалог с проектами позднего Нанси и Киттлера. Тем самым русский символизм вписывается в более широкий интеллектуальный контекст и оказывается живым и актуальным собеседником для современных гуманитарных наук, чей диалог с Потебней и Кантом стал ключевым моментом в преддверии великого лингвистического поворота, последствия которого мы продолжаем осмыслять сегодня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Исследования

1. *Бирюков Д.С.*, *Гравин А.А.* От потебнианства к магической интенциональности: к вопросу о становлении лингвофилософии отца Павла Флоренского // Платоновские исследования. 2023. Т. 18, № 1. С. 272–293. https://doi.org/10.25985/PI.18.1.12
2. *Гаспаров М.Л.* Избранные труды. М.: Языки русской культуры, 1997. Т. III: О стихе. 608 с.
3. *Глухов А.А.* Перехлест волны. Политическая логика Платона и постницшеанское преодоление платонизма. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2014. 584 с.
4. *Гравин А.А.* Деконструкция vs актуализация: С.С. Хоружий и Л.А. Гоготишвили о В.С. Соловьеве и соловьевской традиции в русской философии // Соловьевские исследования. 2025. № 1 (85). С. 35–44. https://doi.org/10.17588/2076-9210.2025.1.035-044
5. *Деррида Ж.* О грамматологии / пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Н.С. Автономовой. М.: Ad marginem, 2000. 512 с.
6. *Золотова Н.О.* Внутренняя форма слова: некоторые аспекты интерпретации // Теория языка и межкультурная коммуникация. 2024. № 1 (52). С. 86–94.
7. *Кобленкова Д.В.* Нереалистическая литература vs вторичная художественная условность в советском и постсоветском литературоведении: проблемы изучения // Культура и текст. 2023. № 1 (52). С. 6–18. https://doi.org/10.37386/2305-4077-2023-1-6-18

8. *Кристева Ю*. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. 656 с.
9. *Лаппо-Данилевский К.Ю*. Вячеслав Иванов в диалоге со школой А.А. Потебни и утверждающимся формализмом // Летняя школа по русской литературе. 2023. Т. 19, № 1–2. С. 42–88. https://doi.org/10.48612/sum-2023-19-1-2-42-88
10. *Ман П. де*. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста / пер. с англ. примеч., послесл. С.А. Никитина. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 368 с.
11. *Ман П. де*. Слепота и прозрение. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2002. 256 с.
12. *Марков А.В*. Внутренняя форма слова в русском гумбольдтианстве и антиномичность в аргументативных стратегиях континентальной философии // Новый филологический вестник. 2025. № 3 (74). С. 24–33. https://doi.org/10.54770/20729316-2025-3-24
13. *Марков А.В*. М.Л. Гаспаров между Бахтиным и Деррида // Новый филологический вестник. 2024. № 4 (71). С. 35–44. https://doi.org/10.54770/20729316-2024-4-35-44
14. *Марков А.В*. Потебнианство ошибок или пророчество о постструктурализме: несколько замечаний об антиномизме Брюсова и Вяч. Иванова // Новый филологический вестник. 2026. № 1 (76). С. 56–68. https://doi.org/10.54770/20729316-2026-1-56
15. *Марков А.В*. Философия поступка М.М. Бахтина и антиномии символизма в свете деконструкции // Ташкентский литературоведческий форум 2024. Ташкент: Национальный ун-т Узбекистана, 2025. Т. 1, № 3. С. 13–20.
16. *Нанси Ж.-Л*. Непроизводимое сообщество: Новое издание, пересмотренное и дополненное / пер. с фр. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М.: Водолей, 2011. 208 с.
17. *Патроева Н.В*. Семантический потенциал лексемы сумерки в русской поэзии // Слово.ру: Балтийский акцент. 2024. Т. 15, № 1. С. 61–71. https://doi.org/10.59222225-5346-2024-1-3
18. *Петрова Л.А*. Имя Божие и божественная энергия в философии языка С.Н. Булгакова // Платоновские исследования. 2022. Т. 16, № 1. С. 226–245. https://doi.org/10.25985/PI.16.1.11
19. *Пигалев А.И*. Границы визуального режима модерна: синкретические образы рядом с единообразием видения // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 1 (23). С. 12–30. https://doi.org/10.23951/2312-7899-2020-1-12-30
20. *Пигалев А.И*. Репрезентация после модерна: от «другого начала» Хайдеггера к «посланию» Деррида // Вестник Томского государственного

университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 58. С. 85–96. https://doi.org/10.17223/1998863X/58/9

21. *Пигалев А.И.* Структуры понятийной репрезентации и символический обмен: новые контексты истолкования Марксом системных эффектов // Logos et Praxis. 2020. Т. 19, № 4. С. 5–20. https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2020.4.1
22. *Сухарева В.А.* Символическая концепция языка против деконструкции: поэты серебряного века (А. Белый и В. Хлебников) и Ж. Деррида о возможности праязыка // Философия в XXI веке: вызовы, ценности, перспективы. Екатеринбург: Макс-Инфо, 2016. С. 352–357.
23. *Тульчинский Г.Л.* Расширение возможностей семиотического анализа: источники и содержание концепции «глубокой семиотики» // Вопросы философии. 2019. № 11. С. 115–125. https://doi.org/10.31857/S004287440007358-8
24. *Царева Н.А.* Теургическая идея русского символизма и постмодернистская концепция деконструкции о преобразовании мира и человека // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 320. С. 65–68.
25. *Цилински З.* Археология медиа: о «глубоком времени» аудиовизуальных технологий / Зигфрид Цилински. М.: Ад Маргинем, Музей совр. искусства «Гараж», 2019. 440 с.
26. *Шукуров Д.Л.* Сравнение принципов именования Бога в ономатологических учениях П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева и С.Н. Булгакова // Филологos. 2019. № 3(42). С. 89–97. https://doi.org/10.24888/2079-2638-2019-42-3-89-97
27. *Derrida J.* Voyous: deux essais sur la raison. Paris: Editions Galilée, 2003. 216 p.
28. *Kittler F.* Gramophone, Film, Typewriter. California, 1999. 318 p.

Источники

29. *Белый А.* Глоссолалия. Поэма о звуке. М.: Evidentis, 2002. 144 с.
30. *Белый А.* Собр. соч. Символизм. Книга статей / общ. ред. В.М. Пискунова. М.: Культурная революция; Республика, 2010. 527 с.
31. *Брюсов В.Я.* Собр. соч.: в 7 т. М.: Худож. лит., 1975. Т. 6. 656 с.
32. *Потебня А.А.* Мысль и язык. М.: Лабиринт, 1999. 300 с.
33. *Флоренский П.А.* Имена: Сочинения. М.: Эксмо, 2006. 895 с.
34. *Флоренский П.А.* Космологические антиномии И. Канта [Пробная лекция] // Богословский вестник. 1909. Т. 1, № 4. С. 596–625 (3-я паг.).
35. *Флоренский П.А.* У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. 448 с.